

## ОТКУДА И КУДА ПРИШЛА РОССИЙСКАЯ ЭТНОЛОГИЯ: ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД В ГЛОБАЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ<sup>1</sup>

© 2021 г. В. А. Тишков

*Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, Москва, Россия*

*E-mail: valerytishkov@mail.ru*

Поступила в редакцию 25.10.2020 г.

После доработки 03.11.2020 г.

Принята к публикации 16.11.2020 г.

В статье представлен обзор тенденций в российской академической этнологии за последние три десятилетия. Это анализ состояния дисциплины изнутри, с точки зрения автора, который был все эти годы в центре научной и общественной жизни страны и как директор ИЭА РАН оказывал влияние на академическую стратегию и институциональные перемены. Это также взгляд на национальную российскую этнологию в контексте гносеологических сдвигов и дисциплинарных перемен, которые происходили в мировой социально-культурной антропологии и этнологии. Основные положения статьи касаются: внутридисциплинарной инерции и трудной ревизии советского наследия; ограничительного воздействия доминирующих публичных практик на выбор метатеоретических конструкций, таких как социальный конструктивизм, в культурно-сложных обществах; влияния на научное сообщество идеологии и практики этнонационализма и порождённой им “постколониальной”, или аборигенной, антропологии; соединения этнографической традиции и новых направлений поиска культурных схожестей как антитезы традиционной одержимости установлением различий. В статье анализируются проект нациестроительства на основе полиэтничной гражданской нации в качестве одной из перспектив антропологического видения России и места учёных в этом проекте. Автор оценивает постсоветский период как один из самых плодотворных в истории отечественной этнологии с точки зрения становления новых направлений, тематического репертуара и географии исследований.

**Ключевые слова:** российская полиэтничность, мировая антропология, советская и российская этнология, Институт этнологии и антропологии РАН, Ассоциация антропологов и этнологов России, теория этноса, этничность, социальный конструктивизм, постколониализм, индигенность и аборигенная антропология, этнонационализм, культурная сложность, нация и нациестроительство.

DOI: 10.31857/S0869587321030105

### ТОЧКИ ОТСЧЁТА

В начале 2019 г. под редакцией норвежского антрополога Т.Х. Эриксона и чешского этнолога М. Якубека вышла в свет книга [1], посвящённая

<sup>1</sup> Статья перепечатывается из журнала “Этнографическое обозрение” (2020. № 2. С. 72–137).



ТИШКОВ Валерий Александрович — академик РАН, академик-секретарь Отделения историко-филологических наук РАН, научный руководитель ИЭА РАН.

50-летию издания знаменитого сборника статей под редакцией Ф. Барта “Этнические группы и границы: социальная организация культурных различий” [2]. Обе публикации примечательны для истории мировой этнологии и социальной/культурной антропологии: одна оказала мощное и разностороннее влияние на изучение феномена этничности и не только, другая представляет собой попытку ведущих исследователей Европы и Америки осмыслить полувековую эволюцию одной из центральных тем нашей дисциплины — тему этничности. Как один из авторов книги о наследии бартовской концепции и как ветеран этнологического цеха пользуюсь возможностью изложить некоторые обзорные положения и привести отдельные заключения о развитии мировой и российской этнографической/этнологической науки в недавнем прошлом и о её возможных перспективах. Не претендуя на полноту обзора, статья представляет собой, как подчёрки-

вает её название, “персональный взгляд” на обсуждаемые проблемы.

Поскольку книга под редакцией Ф. Барта и содержащаяся в ней концепция дошли до русскоязычного читателя с огромным опозданием [3], то можно сказать определённо: позднесоветская этнография эпохи Ю.В. Бромлея и западные антрополого-этнологические штудии шли почти не пересекающимися курсами, по крайней мере с точки зрения их теоретико-методологического арсенала. Об этом, кстати, написала американский антрополог К. Вердери, вспоминая историю совместных советско-американских симпозиумов в Таллине и Новом Орлеане в 1980-е годы. Эти форумы были инициированы горбачёвской перестройкой и координировались с советской стороны Ю.В. Бромлеем, с американской – С. Минцем в рамках межакадемических обменов наших стран. Вот как К. Вердери описывает свои впечатления от этой встречи двух школ и идеологий:

“В то время я не всё осознавала. Я просто смотрела на советских учёных как на теоретически допотопных [*theoretically antediluvian*] по сравнению с нами – молодыми барто-марксистами, вооружёнными актуальными тогда ситуационализмом, самоидентификацией, политической экономией. На самом же деле я была свидетелем одной из великих коллизий в работе обществоведов – проблемы связи теории и социальной идеологии... Тогда на конференции я встретила с со- беседником (имеется в виду Ю.В. Бромлей. – *В.Т.*) ...предлагающим теоретическое объяснение (его концепт *этноса*) как открытое обоснование идеологии, удерживающей единство Советского Союза” [4, р. 40].

“Где кончается этническая теория и начинается идеология?” – спрашивает себя К. Вердери. Тогда у неё не было ответа, и только спустя какое-то время она поняла, что “на этой конференции произошло столкновение чего-то гораздо большего, чем хорошая и плохая теории” (там же).

Я, как участник вышеупомянутых встреч, в своё время также был шокирован, услышав от западных коллег, что “этносов не существует”, что не только этничность, но даже раса представляют собой социальные конструкции. Ещё больше меня повергла в смятение язвительная реплика известного антрополога Э. Вулфа после прочтения мною на Международном конгрессе антропологических и этнологических наук в 1988 г. в Загребе доклада Ю.В. Бромлея о современных этнических процессах: “Спасибо Вам за лекцию по социальному расизму”. Больше стыда я не переживал в своей жизни. Реакцией на все эти внешние воздействия (западные книги и подходы, вполне доброжелательные дискуссии с американскими коллегами) стало моё убеждение, что процветавшие в советской этнографии примор-

диализм и социобиологический эволюционизм скорее говорят о кризисе, а не о победной поступи нашей науки. Сюда же добавилось влияние британского антрополога Э. Геллнера, благожелательный интерес которого к советскому обществузнанию [5, 6] не помешал критичной оценке теоретической базы советской этнографии.

При всём моём интересе к тогдашним западным подходам в изучении этнического было понятно, что постулаты социального конструктивизма будут трудно утверждаться на российской почве, если вообще их удастся включить в теоретико-методологический арсенал. А ещё более сложной представлялась задача разведения “национального” и “этнического”, особенно пересмотр категории “нация” в пользу её гражданско-политического смысла или хотя бы утверждение возможности двойной трактовки столь известной категории. Мой опыт изучения “национального вопроса” в Канаде [7–9], где соперничали концепты общеканадской, регионально-этнической квебекской и аборигенной наций (именно в те годы родилось движение “первых наций”), также подсказывал необходимость ревизии одного из фундаментальных постулатов советского обществознания.

Ныне, с дистанции почти трёх десятилетий, можно сказать, что главное препятствие на пути модернизации отечественной этнологии заключалось даже не в “допотопном примордиализме” и эволюционизме теории этноса, а в социально-политической действительности, основанной целиком на концепте этнонационального государственоительства при существующем и верхушечно контролируемом этническом национализме. В обществе, где основополагающая роль отведена этническим различиям, начинают действовать особые практики, факторы, аргументы и эмоции. Здесь проявляются особые закономерности в поведении разных сообществ, их элит и отдельных личностей. Здесь и сам исследователь оказывается перед искушением, выбирая между новыми теориями и доминирующей практикой.

Эту проигнорированную теоретиками социального конструктивизма сторону в интерпретации этнического феномена отметила и К. Вердери, которая изучала связь между этничностью и нациестроительством на примере близкой нам по опыту социалистической Румынии [10]. Действительно, Ф. Барт и его коллеги сыграли важную роль в обосновании трактовки этнической идентичности как пластичной материи, как инструмента для организации социальных отношений, а не как “прирождённого патриотического чувства”. Но как только эти идентичности обретают идеологические формы, особенно в ходе нациестроительства, формирования нации-государства, то весь характер изучения и интерпретации

этничности меняется. «Строители столь большого сооружения, как *Нация*, ожидают от исследователей более серьёзного восприятия их проекта. Появляются гнев и боль в случае, если мы продолжаем рассматривать это сооружение просто как “исходный материал”», — пишет К. Вердери [4, р. 41]. Действительно, как только этничность обретает некое подобие статистических форм, а тем более когда она трактуется в категории национальной государственности, как это было в СССР и отчасти сохраняется поныне в России и в ряде других стран, то подвижность и проницаемость этнических групповых границ превращается в жёсткий и труднопреодолимый фрейм. Эта жёсткость понуждает носителей уже “этнонационального” к радикальным защитным или агрессивным действиям, вплоть до этнического насилия или самосожжения, как это сделал удмуртский этноактивист А.А. Разин в августе 2019 г. К. Вердери делает важное заключение, актуальное и для российской действительности:

“Как межэтнические взаимодействия, так и порождаемые ими теоретические построения происходят в ситуации процессов формирования и сохранения наций-государств, процессов, которые невозможно свести к локальным взаимодействиям через культурные границы... Изучение этнических групп и границ означает не только изучение ситуационных стратегий, но и формирование этнонациональных идеологий вместе с чувствами и действиями, которые их сопровождают” (там же).

Именно в связи с этой поправкой теории социального конструктивизма и появившейся тогда же концепцией Б. Андерсона о нации как “воображаемом сообществе”, мною — с начала директорства в Институте этнографии АН СССР в 1989 г. — были предприняты усилия по критике “теории этноса” и модернизации отечественной этнологии, включая её наименование, предмет и статус. Позднее родилось и название книги — “Реквием по этносу”, под которым имелась в виду, конечно, теория, а не сама этническая реальность [11]. Здесь нет смысла освещать позднесоветский период в развитии этнографической науки, о нём написано достаточно [12–15], упомяну лишь ещё одну точку отсчёта нашего обзора. Тридцать лет назад в журнале “Советская этнография” была опубликована моя статья “О новых подходах в теории и практике межнациональных отношений” [16], в которой высказывался ряд ревизионистских положений: используемый советской этнографией в отношении населения страны и мира категориальный арсенал неадекватен и политизирован; концепция этноса уязвима и не отражает сложность этнической реальности как в историческом аспекте, так и в современном; понимание “национальной государственности” как формы самоопределения этнонации

нереализуемо и конфликтогенно, а для полиэтничного государства такая политика нациестроительства представляет серьёзный риск. Но самой важной в плане назревших перемен для меня тогда была проблема преодоления дисциплинарного кризиса, о чём я писал в статье “Советская этнография: преодоление кризиса” [17].

Дальнейшее развитие событий и есть предмет этой статьи. Считаю уместным напомнить, что писал С.В. Соколовский о труднопреодолимой предопределённости позиций любого автора, когда речь идёт об оценке состояния дисциплины: “Либо время сегодня нервное, либо зола давних схваток пока не остыла, но так получается, что непредвзятые попытки описать ситуацию дисциплины вне ангажированного позиционирования самого автора, это положение представляющего, у нас практически не встречаются” [18, с. 144]. Подозреваю, что мне также не удастся быть беспристрастным в силу глубокой вовлечённости в дела отечественной этнологии/антропологии.

### НОВОЕ РОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ИЛИ РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ?

В конце 1980-х годов мне не хватило кругозора и единомышленников, чтобы вести речь о нашей науке как о социокультурной антропологии, но задача восстановить репрессированную в 1930-х годах отечественную этнологию была сформулирована вполне определённо. Предложенное переименование Института этнографии АН СССР вызвало дискуссии и возражения своего рода традиционалистов (против выступили А.И. Першиц, В.И. Басилов, В.В. Пименов), а В.П. Алексеев предложил ограничиться в новом названии только этнологией. “Антропологию я буду развивать у себя в Институте археологии”, — сказал он мне. «Но я бы скорее оставил в названии слово “антропология”, а не “этнология”», — ответил я. В конечном итоге В.П. Алексеев как член Президиума АН СССР поддержал новое название — “Институт этнологии и антропологии”, и в 1990 г. Президиум утвердил его. Это был важный шаг в развитии нашей науки в канун рождения новой страны — Российской Федерации.

Именно с этого момента начался трудный этап утверждения нового названия и становления нового понимания дисциплины. О завершении его свидетельствует в том числе и переименование четыре года назад нашей национальной профессиональной организации в “Ассоциацию антропологов и этнологов России”. Напомню, что созданное в 1993 г. сообщество первоначально получило более привычное для тогдашних российских этнографов и физических антропологов название: “Ассоциация этнографов и антропологов России”. И сама ассоциация сегодня — это уже радикально новое сообщество профессионалов. Ес-

ли первый её конгресс в Рязани в 1993 г. собрал всего 80 участников, то на XIII Конгрессе антропологов и этнологов России в Казани в 2019 г. их было уже более тысячи, ибо к нашему цеху стали зачастую относить себя исследователи и даже любители самого разного толка — от народных целителей до социальных работников. Программы последних конгрессов ассоциации убедительно свидетельствуют о том, что за четверть века произошло становление нашей науки в её современных предметно-проблемных границах и во многом утвердилась наша общедисциплинарная идентичность именно как антропологов, этнологов. Радикально изменились предмет и интересы, а также методология и язык современной науки. Менее половины докладов, представленных в Казани, условно могут быть отнесены к этнологии, остальные — к разным направлениям социальной, культурной и физической (биологической) антропологии [19].

Произошли существенные изменения в цеховой основе дисциплины — полевых исследованиях на базе этнографического метода. Нет больше коллективных этнографических экспедиций, которые породили свой профессиональный этос и даже фольклор, не говоря уже о поголовной летней этнографии полевых отрядов. Последними, пожалуй, были групповые выезды сотрудников отдела русского народа, изучавших русских Рязанского края [20]. Этнография как таковая осталась, но стала более изощрённой, и она не всегда сосредоточена на сборе эмпирических данных или артефактов. В последние годы в институтский архив перестали поступать полевые материалы (прежде всего дневники). Свообразным памятником этому виду этнографических данных явилось опубликованное З.П. Соколовой собрание её полевых материалов и докладных записок [21].

Важным моментом в становлении новой дисциплины стало открытие в ряде вузов России в 2011 г. самостоятельного направления подготовки — “Антропология и этнология” [22]. Вслед за РГГУ, где уже 20 лет работает Учебно-научный центр социальной антропологии, 11 высших учебных заведений страны получили лицензию на открытие нового направления. Это Дальневосточный федеральный (Владивосток), Казанский федеральный, Омский, Орловский, Томский, Санкт-Петербургский государственные университеты и др. Образовательные программы по антропологии и этнологии реализуются в этих вузах в рамках специально созданных подразделений или на ранее существовавших кафедрах, в названии которых присутствует термин “этнология” (или “этнография”). Учебная программа кафедры этнологии МГУ, хотя последняя остаётся в составе исторического факультета и не имеет аккредитации по нашему направлению, по принятым

международным стандартам является антропологической.

На пути утверждения столь нужной для полиэтнической России специальности неожиданно встали проблемы как субъективного плана (классические исторические факультеты не хотят расставаться с этнографией/этнологией, считая её вспомогательной дисциплиной), так и организационно-бюрократического характера (недавняя кампания слияния кафедр, факультетов и даже вузов), что делает создание новых кафедр, а тем более факультетов антропологии и этнологии фактически невозможным. Были упразднены даже существовавшие кафедры этнологии, как, например, в Уральском федеральном университете (Екатеринбург). Конечно, трудно считать завершённым процесс становления дисциплины без утверждения её в качестве самостоятельной отрасли науки с присуждением учёных степеней кандидата и доктора антропологии, а не исторических или биологических наук, как сегодня. Но это, видимо, задача для следующего поколения антропологов и этнологов.

К институциональным переменам можно отнести появление более десятка новых периодических изданий, а также реновацию старых научных журналов. “Этнографическое обозрение” существенно изменило свой профиль и регулярно обозначает инновационные темы и подходы в области этнологии и социальной/культурной антропологии. Причём неэтническая антропологическая тематика в последние годы доминирует, а этнические сюжеты отличаются неклассическими ракурсами. Напомним некоторые темы номеров журнала после того, как он стал в 2011 г. индексироваться в базе данных Scopus: мультикультурализм в странах Балтии, традиции и традиционность в России, аборигенные культуры на циркумполярном Севере и в Сибири в условиях урбанизации, идентичность и конфликты в ситуациях внутриэтнического взаимодействия, раса и этничность в переписях населения. Журнал фактически ушёл от монографического рассмотрения этнических групп, обновил язык и формат научного текста, расширил географию авторов, в том числе за счёт зарубежных коллег. Хороший международный рейтинг обрёл издающийся с 2004 г. в Санкт-Петербурге двуязычный “Антропологический форум”. И хотя его главный редактор предпочитает слову “этнология” не менее достойное слово “этнография”, этнологическая тематика теоретического плана, не говоря уже о таких приоритетных темах, как язык и языковая политика, фольклор и мифология, исследование религии, на его страницах присутствует. Более традиционалистским выглядит профиль молодого журнала “Вестник антропологии”, хотя в нём и делаются (на мой взгляд, не очень удачные) по-

пытки осветить тему “экспериментальной антропологии”.

У нас нет статистики распределения этнологов/антропологов по сферам научных интересов, но С.В. Соколовский на основе количественного анализа тематики публикаций и взаимных цитирований сделал вывод, что сегодня большинство российских антропологов работают в двух слабо связанных между собой проблемных полях. Первое – это исследование национальной политики (включая изучение конфликтов, толерантности, насилия, межэтнических отношений, национализма и нациестроительства, политики идентичности, этнической категоризации, законодательного регулирования национальной политики и т.п.), второе – изучение более привычных для этнографии обычаев, обрядов, мифологии, традиционных представлений, современных и классических жанров фольклора и т.п. Если рассматривать дисциплину как единое эпистемическое сообщество, то, по мнению С.В. Соколовского, “можно постулировать глубокий раскол <...> распадение на по сути две самостоятельные дисциплины – прикладную политическую этнологию, с одной стороны, и этнографическую фольклористику – с другой” [18, с. 163, 164]. С этим выводом сложно спорить, ибо с точки зрения “полей концентрации” и журнальных цитирований, видимо, так оно и есть, но за этими большими полями разбросано много не столь крупных “полянок”, на которых успешно работают наши коллеги.

Однако говорить о полноценной интеграции российской антропологии/этнологии в мировое сообщество, вероятно, преждевременно. После распада СССР в постсоветских государствах этнографы, большинство которых получили образование и учёные степени в Москве и Ленинграде/Санкт-Петербурге, создали самостоятельные научные сообщества, установили связи с западными антропологами и поменяли исследовательские приоритеты, хотя во многом сохранили примордиалистскую и этнонационалистическую ориентации. А добавившийся мощный крен в сторону постколониалистского дискурса стал существенным препятствием для поддержания некогда тесных научных и личных связей с российскими коллегами. За эти же годы на постсоветском пространстве выросло поколение исследователей, прошедших школу в западных университетах. К тому же в новых суверенных государствах, за исключением Республики Беларусь и стран Центральной Азии (в последних сказывается глубокая традиция Хорезмской экспедиции, исследовавшей древнейшие культуры и цивилизации региона [23]), более активно стали работать зарубежные антропологи, а российские практически свернули свои проекты. Сегодня, пожалуй, только в балтийских и закавказских государствах можно говорить о присутствии, помимо этноло-

гии, современной социально-культурной антропологии как формы профессиональной идентичности; появляются молодые социально-культурные антропологи и в Казахстане. Естественно, физическая антропология сохраняется повсюду, её к тому же укрепляют современные био-популяционно-генетические исследования, к которым у всех современных этнонационалистов особый интерес.

Свидетельством изолированности российских антропологов и этнологов можно считать их слабое присутствие на международных научных мероприятиях и в мировой научной периодике. Россия утратила представительство в руководящих органах Международного союза антропологических и этнологических наук, россияне скудно представлены на международных конгрессах. Так, на Интерконгрессе в Познани в августе 2019 г. было менее 20 учёных из нашей страны. Ассоциация антропологов и этнологов России на этом последнем форуме предложила провести следующий конгресс в Санкт-Петербурге. Организация международных научных форумов в нашей стране позитивно скажется на состоянии дисциплины, как когда-то в 1970–1980-е годы оказалось полезным наше сотрудничество с американскими и европейскими антропологами.

## СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ

Что можно сказать о содержательной трансформации нашей дисциплины, которая, на мой взгляд, отставала от институциональных перемен, но всё-таки состоялась, хотя и не без рецидивов прошлых подходов и с явными метастазами теории этноса в ряд других гуманитарных (и не только!) наук. Прежде всего ушла в прошлое “большая теория” – так называемая теория этноса, а вместе с ней и сводимость дисциплины исключительно к изучению этничности (вспомним начало всех начал: “Предмет советской этнографии – изучение этносов”). Российские антропологи вырвались за пределы этничности, открыв для себя такие направления и субдисциплины, как городская, юридическая, медицинская, гендерная антропологии, изучение субкультур и других культурно отличительных сообществ, этнологические исследования и пр.

Начала рушиться ещё одна “святыня” – этногенез, но это пока только начало процесса, исход которого неясен: учебник В.П. Алексеева “Этногенез” отсутствует в образовательном мейнстриме, но “Этногенез и биосфера Земли” Л.Н. Гумилёва по-прежнему стоит на полках книжных магазинов среди бестселлеров и подарочных изданий, а сам концепт активно используется археологами, физическими антропологами и – ещё чаще – авторами паранаучных трудов и националистами разного толка. Кстати, интернет-портал

этногенез.ру, возглавляемый пассионарным ортодоксом С.В. Дробышевским, пользуется огромной популярностью у российской публики, что напоминает увлечение американцев книгами Карлоса Кастанеды 40 лет тому назад, к великому недовольству учёных-профессионалов.

Метод историзма, названный С.А. Токаревым основным для советской этнографии [24], сегодня не очень в чести, хотя “этнической историей” вместе с “этногенезом” пестрят все тома серии “Народы и культуры”, и сократить или сузить этногенетические претензии авторов, особенно из числа “аборигенных” этнологов, мне как редактору серии не удалось. Таким образом, историческая этнография (С.В. Лурье и Я.В. Чеснов даже дали ей обновлённое название — “историческая этнология” [25, 26]) сохранилась, хотя уязвимость “истории этносов” (или этнической истории) становилась всё более явной. По непонятной иронии её рьяными почитателями стали историки-медиевисты, продолжающие протягивать этническую преемственность от глубокой древности до наших дней, рассуждая о “великом переселении народов”, “вымерших этносах”, “этнополитической истории” вместо анализа дрейфа этнонимов и идентичностей. В недавнем учебном издании по истории народов России авторы, В.Я. Петрухин и Д.С. Раевский, с полемическим задором отстаивают этническую основу исторического процесса: “племена” называются “этноссами” (на самом деле это чаще всего вассальные, дружиннические или местно-поселенческие образования без артикуляции этногруппового, то есть культурно отличительного, самосознания):

“С древнейших времён каждый человек непременно ощущает себя членом некоей совокупности людей, которые воспринимают друг друга как имеющих общее происхождение и одновременно отличают себя от тех, кто принадлежит к иным подобным совокупностям. Такие совокупности именуются этносами, этническими общностями. Любая этническая общность характеризуется рядом как объективных, так и субъективных признаков, а изучением таких общностей занимается наука этнология” [27, с. 12].

Здесь же говорится о биологической преемственности и генетическом родстве в этнических процессах. И этот текст со ссылками на создателей теории этноса и этногенеза Ю.В. Бромлея и В.П. Алексеева издаётся как учебное пособие в 2018 г.!

Причудливые метастазы теории этноса в другие гуманитарные дисциплины я рассмотрел в недавней статье [28], и здесь нет необходимости обращаться к этому сюжету. Однако не всё так мрачно, и можно привести замечания ещё одного медиевиста — П.С. Стефановича. Он пишет о ме-

тодологическом повороте в современной медиевистике:

«Происходит соответствующее обновление понятийного аппарата: вместо политических структур и классового или сословного самосознания говорят скорее об идентичности и стратегиях идентификации, вместо “племён”, этносов и наций — об этничности, вместо идеологии и общественной мысли — о дискурсе и культурной памяти... Историком должен интересоваться не этнос... а этничность — то есть прежде всего дискурсы об этническом, отражающие сознание этнических различий и разграничений» [29].

Это — запоздалые прозрения теперь уже не столько этнологов-антропологов, сколько их коллег по историческому цеху и другим гуманитарным дисциплинам, включая философов [30].

И всё же — рождение новой этнологии или новое рождение этнологии в России? Скорее всего, и то, и другое, но при условии, что не случится “этнореабилитанс”, о котором речь пойдёт ниже. *Новое рождение* — потому что в России уже была этнология, которую репрессировали в начале 1930-х годов, упразднив в том числе этнологический факультет МГУ и расстреляв его декана П.Ф. Преображенского [31, 32]. Сталинские церберы считали, что теорией человеческой эволюции занимается исторический материализм, а к “этно” лучше подходит не “логос” (знание), а “графос” (описание). *Рождение новой* — потому что за последние 30 лет не только появилась социально-культурная антропология, но преобразилась и этнология. Пределом новаций позднесоветской этнографии можно считать так называемую этносоциологию [33] и некоторые другие субдисциплины с неизменной приставкой “этно”: “этнодемографию”, “этноэкологию”, “этнопедагогику”, “этноархеологию” и т.п. В одном из последних амбициозных проектов советской этнографии — Своде этнографических понятий и терминов (Вып. 2. “Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Школы и направления. Методы”) — таких “этнокентавров” числилось 17, вплоть до “этнозоологии” и “этноискусствознания” [34].

В постсоветское время сохранилась так называемая *традиционная этнография*, в частности, в форме монографического описания этнических групп (народов). Здесь самым достойным образом выглядит серия “Народы и культуры”, в рамках которой вышло 36 томов с историко-этнографическим описанием более 70 больших и малых этнических сообществ на территории Российской Федерации и других стран бывшего СССР (за исключением латышей, литовцев, эстонцев; этому помешали политико-идеологические факторы, а также фактическое исчезновение в этих странах классической этнографии/этнологии).

Сохранившиеся на постсоветском пространстве старые школы этнографии и связи между учёными сделали возможным совместную подготовку этих трудов, несмотря на новые серьёзные расхождения в подходах по таким сюжетам, как трактовка имперского периода в истории того или иного народа, оценка советского наследия, некоторые территориально-статусные вопросы. С течением времени эти концептуальные расхождения увеличиваются, и сегодня едва ли было бы возможно создать общие тексты в таких томах, как “Грузины” или “Украинцы”. Отличительная черта этой серии в том, что тома готовились главным образом учёными из среды соответствующих народов, а ведущие научные коллективы в лице академических институтов выступали организаторами данных публикаций. Такое было невозможно в прежние времена, ибо в советской “провинции” не было достаточно подготовленных кадров, и московско-ленинградские этнографы безраздельно доминировали в выпуске научной продукции. Например, прототип данной серии — 18-томник “Народы мира” — в 1950–1960-е годы был целиком написан авторами из “центрального” института (Кунсткамера тогда была Ленинградским отделением Института этнографии АН СССР).

В последнюю четверть века сотрудничество в рамках проекта “Народы и культуры” было полностью равноправным — без московских предписаний, кроме необходимых профессиональных требований к качеству текстов. Методологически тома выдержаны в русле умеренного примордиализма, а также академического (либерального) этнонационализма, которым во всём мире отличаются как “домашняя” антропология (*home anthropology*, “антропология отечества”), так и “аборигенная” (*native anthropology*, антропология от имени миноритарных групп). Мне как руководителю серии (её инициатором был покойный Ю.Б. Симченко, предложивший в своё время написать 100-томную серию о народах СССР) было невозможно реализовать более модернистский вариант текстов, представив, скажем, народы как “социальные конструкторы”, а “нации” как “метафоры” (что было позволительно в собственных публикациях). Однако уже то, что в текстах очень кратко излагаются историко-антропологические данные (к сожалению, в некоторых томах проскочила “этногеномика”), полно даются описания материальной и духовной культуры, а также включены разделы по идентичности и этнополитической ситуации, можно считать существенным достижением. Эти коллективные труды ещё долго будут представлять наиболее полный свод историко-этнографических знаний об этнических сообществах на территории бывшего СССР. Надо честно сказать, что Институт этнологии и антропологии РАН получил благодаря этому про-

екту очень престижный дивиденд от результата труда нескольких сотен отечественных и зарубежных учёных, не работающих в его штате. Можно сказать, что в этом сотрудничестве проявилось косвенное признание особой роли (в прошлом, а может быть, и в настоящем) ведущего академического института.

В то же время новое поколение антропологов/этнологов в условиях открывшегося общества взяло на себя инициативу и получило по ряду направлений заметные результаты, которые, на мой взгляд, превосходят достижения позднесоветской этнографии по многим параметрам.

Одно из таких новаторских направлений постсоветской российской этнологии было связано с “взбунтовавшейся этничностью” и с тем, что стали именовать *национальными движениями, межнациональными отношениями и конфликтами*. Темы конфликтной этничности (если только это не были зарубежные сюжеты) в повестке советской этнографии не было, ибо, как гласили партийные документы, “в СССР национальный вопрос в том виде, как он достался от царского режима, был решён”. В этой сфере признавались только “неантагонистические противоречия”. М.Н. Губогло инициировал серию публикаций по так называемым гражданским движениям в советских союзных республиках и в республиках РФ, и эта серия вылилась в многотомные публикации документов и исследований по этнонациональным движениям [35]. Параллельно с этим и в сотрудничестве с американскими социологами и политологами (Т. Колтоном из Гарварда, Д. Лейтином из Беркли, Д. Хаффом из Дьюкского университета) были выполнены масштабные социологические исследования в российских полиэтничных регионах.

Мои ранние североамериканские исследования и практический опыт участия в политическом процессе, включая работу в должности министра по делам национальностей, способствовали обращению к этой теме и созданию сетевого сообщества, в которое вошли многие российские обществоведы, не только этнографы, но и социологи, политологи, психологи, и которое в 1993 г. было оформлено как “Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов” (*EAWARN* — придуманная мною аббревиатура от *early warning*). Появились даже вузовская дисциплина “этноконфликтология” с наспех сделанными пособиями и ассоциация конфликтологов. Этнополитический конфликт был в реальной повестке постсоветской действительности. Почти все открытые вооружённые столкновения, в том числе сепаратистского и погромного типа, произошли в короткий исторический период и не получили должного экспертного объяснения. Все они имели этническую составляющую и в значи-



тельной степени питались советской идеологией “национального (читай — этнического) самоопределения”. В российской Чечне при внешней поддержке международных террористических сил возникла не контролируемая центральным правительством территория вооружённого сепаратизма. Для отечественной этнологии это был очень тревожный и требующий ответа вызов. Не случайно в какой-то момент на позициях советника президента страны по межнациональным отношениям и руководителя федерального ведомства по делам национальностей оказались сотрудники ИЭА РАН. Учёные-этнологи были в центре конфликтных событий в Нагорном Карабахе, Абхазии, Чечне.

Зарубежная экспертиза этнополитических конфликтов заключала в себе двоякие смыслы и оказывала неоднозначное воздействие. Крупные учёные, например Д. Горовиц, М. Олкотт, М. Балзер и Х. Балзер, У. Янг, С. Смуха, Э. Ян, а также конфликтологические и миротворческие организации типа гарвардской группы по урегулированию конфликтов или лондонской “Международной тревоги” стремились понять постсоветскую реальность и оказать содействие в решении конфликтных ситуаций. В 1993 г. небольшая группа экспертов, в числе которых были Д. Горовиц и я, подготовила практико-ориентированный теоретический трактат о природе и разрешении конфликтов. Документ был разработан в местечке Кона на Большом о-ве Гавайских островов и получил название “Меморандум Кона”. Его первые строки ясно формулируют методологическую позицию авторов:

«Современные научные данные говорят о том, что этническая (национальная) принадлежность является продуктом политической, культурной, религиозной и языковой истории общества, его традиций, обычаев, а иногда и мифов, а не общего происхождения. Этническая принадлежность и борьба за национальное самоопределение сыграли в истории двойственную роль: а) ведущего фактора в падении империализма, тоталитаризма и утверждении прав и свобод личности, б) причины разрушительных конфликтов, унёсших жизнь миллионов и причинивших огромный ущерб, а также оправдания ущемления прав и свобод личности “во имя нации” и установления деспотических режимов» [36].

В этих строках отразился умеренный примордиализм Д. Горовица [37, 38] и мой как основных авторов текста. С подобных позиций были написаны и две моих книги, изданные в западных издательствах [39, 40], а также коллективные труды по тематике национализма и конфликта [41, 42]. Никаким воинствующим конструктивизмом в этих работах и не пахло, да и ситуация этого не позволяла.

В позитивном ключе могу отметить сотрудничество в рамках Московского центра Карнеги, где несколько лет М. Олкотт координировала вместе со мною регулярные семинары специалистов по теме этноконфликтов и межэтнических отношений. В те же 1990-е годы профессор Джорджтаунского университета М. Балзер помогла якутским этнологам с зарубежными стажировками и начала издание журнала “Anthropology and Archeology of Eurasia: A Journal of Translation”, в котором за два десятилетия были опубликованы десятки статей российских этнологов, что безусловно поднимало их квалификацию и престиж. Пишу об этом, чтобы скорректировать несправедливое и конъюнктурное отрицание нынешними пропагандистами полезности тогдашних связей с западной наукой, включая и грантовую поддержку.

Но было воздействие и другого рода. После 1991 г. не все воины холодной войны ушли в отставку и не все избавились от идеологии антисоветизма с сердцевинной русофобией. Сам распад СССР по линиям этнотерриториальных автономий (союзных республик) воспринимался и обособывался как процесс неизбежного краха империй и как торжество самоопределения наций. “Nations speak out” (“говорят народы”) [43] — популярная на Западе метафора для определения тогдашнего общественно-политического климата в нашей стране. Часть западных антропологов и политологов с позиций кондового примордиализма приветствовала и оправдывала радикальный этнический национализм и вооружённый сепаратизм в СССР и в новой России, если только он был направлен против status quo и центральной власти. Действия вооружённых террористов в Чечне трактовались как восстание “примордиальной нации” и сравнивались с поведением античных героев (“Антей с гранатомётами” [44]). Это были нелёгкие моменты нашего диалога с зарубежными коллегами, и, возможно, с этого началось взаимное отчуждение, которое продолжается до сих пор. К тому же лагерь отрицателей России и всего, что с ней связано, пополнился “новыми европейцами”, претендующими на роль интерпретаторов российских реалий, включая и гуманитарные штудии россиян. В европейском интеллектуальном сообществе в этой части солируют поляки и прибалты, за ними последовали и украинцы. Восстановление нормального научного взаимодействия и снижение уровня русофобии — одна из задач российских антропологов.

Российские этнологи за последние два десятилетия провели много исследований по этнополитике, в том числе и на регионально-местном уровне, и написали большое число трудов. Особо можно отметить коллективные издания по итогам этнологического мониторинга *EAWARN* и аналитических разработок Распределённого научного центра межнациональных отношений и



религиозных проблем [45–47]. Эта тема стала приоритетной и в российских республиках. По данному направлению иногда получается кооперироваться с экспертами соседних государств [48].

В этом же проблемном поле развернулось изучение классической темы нации и национализма, включая так называемое *нациестроительство* и разные проявления экстремистской идеологии. Здесь главная задача заключалась в том, чтобы ревизовать старую советскую дефиницию национализма как формы оправдания господства одной нации над другой, то есть однозначно отрицательного явления, противоположного интернационализму (национализм назывался буржуазным, а интернационализм – социалистическим). Один из этнологических словарей 1990-х годов давал уже более “спокойное” определение, но связывал эту категорию с этничностью: “Национализм – распространённое понятие, обозначающее приверженность людей интересам своей нации (этноса), её культурным ценностям и т.п.” [49]. К этому времени уже были переведены на русский язык книги о национализме Э. Геллнера [50] и Э. Хобсбаума [51], но перевод книги Б. Андерсона [52] вышел с опозданием на 30 лет! Реабилитация национализма как одной из мощнейших общественных теорий и практик, признание его значения в истории образования современных государств, а также новых государств после распада СССР и Югославии, расшифровка двух его ипостасей – этнической и гражданской, объяснение страновых и региональных вариантов, противоречивых целей и последствий – всё это было непростой интеллектуальной задачей, решение которой взяли на себя не историки или политологи, а именно этнологи. Большое количество моих собственных статей [53–56] и коллективный труд по теме нации и национализма [57] сыграли свою роль в этих ревизиях, хотя в общественно-политическом дискурсе национализм остаётся скорее ругательством, чем позитивной оценкой.

Очень важный вклад в критику разных форм и сложных перипетий этнического национализма и радикальных идеологий внёс В.А. Шнирельман [58–63], чьи фундаментальные труды вызывали тот самый “гнев и обиду” (вплоть до судебных исков) этнонациональных активистов, о которых писала К. Вердери. Кстати, В.А. Шнирельман вместе со мною попал в список “100 врагов русского народа”, составленный русскими радикальными националистами, а дугинский “Евразийский союз молодёжи” устроил пикет у главного здания Российской академии наук, где размещён и наш институт, против В.А. Тишкова как “американского шпиона”, который заслуживает тюремного срока “от 10 до 20”.

Ещё одно важное направление современных этнологических исследований – изучение феномена *идентичности*, или того, что раньше называлось самосознанием. Этническая идентичность – её содержание, динамика, соотношение с другими формами идентичности – стала одной из торговых марок нашей дисциплины. Здесь также было заметно влияние мирового исследовательского контекста. С 1990-х годов разными авторами в разных странах было много сделано по теме идентификационных границ. Американский антрополог Э. Коэн показал, что культурные границы, в которых дрейфуют идентичности, носят невыраженный характер – это своего рода “серые зоны” [64]. Швед У. Ханнерц обратил внимание на феномен креолизации, когда в процессе современной урбанизации и глобальных взаимодействий происходит смешение и замещение культур [65, 66]. Директор Института Макса Планка по изучению религиозного и этнического разнообразия С. Вертовек выдвинул концепт сверхразнообразия, обратив внимание на ситуации, когда разнообразие вообще несводимо к групповым идентичностям, ибо невозможно определить даже сами группы [67]. Модными в мировой литературе, особенно при изучении культурных потоков и миграционных воздействий, стали концепты *гибридности*, *бриколажа*, а также *промежуточных культур* (*culture-in-between*). Все эти идеи тем или иным образом вошли и в арсенал российских учёных. Существенно помогли работы Е.И. Филипповой о французской антропологии и её переводы французских авторов [68–70]. Примечательными были совместные публикации с белорусскими этнологами по проблемам идентичности и культурных границ [71], а также с испанскими коллегами (главным образом из Страны Басков [72]) – по регионально-культурным идентичностям.

Старый концепт “переходных групп” или “маргинальности” (это о тех, кто как бы совершал переход из одного этноса в другой) уже не удовлетворял российских исследователей. Появился интерес к сложным идентичностям и к культурно сложным обществам, когда сложность понимается не как тривиальная многонациональность и не как некая аномалия, а как одна из норм современных человеческих коллективов. В российском общественном сознании происходит трудный поворот и к рассмотрению нации как культурно сложного феномена. Это касается также трактовки российского народа как *полиэтнической гражданской нации* [73, 74]. Нынешнее многообразие исследований идентичности в российской этнологии отчасти нашло отражение в 600-страничной публикации материалов научной конференции по этнокультурной идентичности народов Сибири и сопредельных территорий [75].

## ТРУДНЫЕ СУДЬБЫ СОЦИАЛЬНОГО КОНСТРУКТИВИЗМА

На смену историзму как научному подходу и историческому материализму как социальной философии с большим трудом на протяжении трёх десятилетий пробивал себе дорогу в российском общественном сознании *социальный конструктивизм*. Долгое время он (вместе с постмодернизмом) воспринимался многими коллегами и этно-активистами как некая болезнь, как западная зараза, противная государственным интересам России (см. статьи С.Е. Рыбакова в “Этнографическом обозрении” в 1990-е годы и его книгу про “философию этноса” [76]). Как недавно сказал один из ответственных работников Федерального агентства по делам национальностей РФ (кстати, бывший сотрудник ИЭА РАН), “Тишков и его команда – это конструктивисты, а нам в государственном управлении нужны примордиалисты”. И это говорится после вышедших за последние 20 лет блистательных научных трудов по проблемам этничности, по истории советского проекта конструирования социалистических наций и народностей и “национально-государственного строительства”! Достаточно назвать переведённые на русский язык книги и статьи таких авторов, как Р. Суни, Т. Мартин, Ф. Хирш, Ж. Кадио, Ю. Слёзкин, К. Хэмфри, которые не могли не оказать влияния на понимание истории “национального вопроса” в СССР. О сложных перипетиях расставания с этносом и утверждения конструктивистской парадигмы в России я написал в книге, посвящённой 50-летию бартовского сборника “Этнические группы и границы...” [77].

Однако мало-помалу концепт идентичности и её сложной подвижной природы вытесняет в российской этнологии этнос и его носителей (“этнофоров”). С 2000-х годов хотя бы на уровне ритуальных ссылок в научных текстах появились понятия “воображаемые сообщества” и “этничность без групп”. Однако сам по себе *группизм*, как его обозначил Р. Брубейкер [78], не был преодолен, и он до сих пор процветает, особенно в “региональной” науке и у соседей по бывшему СССР. Кстати, критика теории этноса и движение за пределы узко обозначенного предмета этнографии/этнологии столкнулись с упорным сопротивлением далеко не только среди российских провинциалов. Очень долго на старой позиции, зафиксированной даже в “соросовском” варианте вузовского учебника “Этнология”, стояли ведущие профессора МГУ (В.В. Пименов, Ю.П. Поляков и др.), противостоять которым оказался бессилён даже заведовавший в 2006–2013 гг. кафедрой этнологии просвещённый А.А. Никишенков. В Санкт-Петербурге Л.Р. Павлинская и другие сотрудники Кунсткамеры продолжали воспевать гумилёвские *пассионарность* и *суперэтничность* и

прочую евразийскую цивилизационную труху, а философ-культуролог И.Л. Набок, пестовавший студентов из числа малочисленных народов Севера, доброе десятилетие собирал в СПбГУ шумные конференции под вызывающим названием “Реальность этноса”. В Новосибирске “этнофилософы” Ю.В. Попков и Е.А. Тюгашев публиковали периодическое издание по этнографии народов Сибири, чей пафос был направлен на защиту теории этноса и осуждение конструктивизма. Особое отторжение у этнофилософов и, конечно, этнонационалистов вызывает концепт гражданской нации, ибо последняя представляется ими не как консолидирующая согражданство форма идентичности, а как некое коллективное тело с набором объективных признаков и культурной гомогенностью. В новейшем новосибирском издании об этнокультурной идентичности мы читаем следующее:

“Идея российской нации как законодательной основы государственной национальной политики не может выступать консолидирующим началом для российского общества, концептуальной основой формирования гражданского единства... Следует признать ограниченность конструктивистской позиции в понимании нации, которую отстаивает В.А. Тишков” [79, с. 14].

Автор вместе с другими сторонниками трактовки нации исключительно в этническом смысле при этом незастыливо ссылается на Р. Брубейкера и даже на С. Хантингтона – на его работу под вполне ясным названием “Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности”. То есть у гетерогенного и раздираемого этнорасовыми проблемами американского народа есть национальная идентичность, а у русского народа её быть не может – у нас только “многонациональность” и “дружба народов”. Вот эта интеллектуальная коллизия спора о том, “что есть нация”, представляется мне главным теоретико-методологическим вызовом для российского общественно-знания.

Иногда высказывается мнение, будто бы под моим воздействием конструктивизм агрессивно утверждался в нашей науке в течение последней четверти века. Это совсем не так, ибо в ИЭА РАН в условиях академической свободы конструктивистское видение этничности совсем не было доминирующим. В отличие от 1980-х годов, когда почти каждая статья в журнале “Советская этнография” начиналась со ссылки на книги Ю.В. Бромлея, главной особенностью последних трёх десятилетий было поощрение и утверждение методологического плюрализма. Эта установка оправдала себя, обернувшись целой библиотекой фундаментальных трудов, и она должна быть сохранена в будущем. Однако есть и “красные ли-

нии” в наших научных дебатах, о которых следует упомянуть.

Рецидивы органистического видения этно- групп с не критическими реверансами в адрес “родоначальников этноса” и сторонников фундаментальных групповых различий можно найти и поныне. Даже в среде, казалось бы, вполне просвещённых коллег присутствует если не ностальгия по прошлой “большой теории”, то, по крайней мере, желание вывести её из-под критики. Так, Д.В. Арзютов и С.С. Алымов вместе с Д. Андерсоном и другими соавторами внешне бесстрастно изложили в недавно вышедшей книге суть идеи и теории этноса, обнаружив “подлинные корни” этой идеи и теории ещё во второй половине XIX — начале XX в. в работах таких поборников малороссийской (украинской) этно- отличительности, как Н.М. Могилянский и Ф.К. Волков (первый написал всего пару слабых статей, второй и вовсе занимался только этнической картографией). Задачу своей книги авторы видят в том, чтобы “попытаться показать на основе архивных источников и этнографических примеров, как соединяются в рамках теории этноса физиологические и символические аргументы” в надежде «установить “основание” теории этноса, излагая долгую и подробную историю социальных условий, которые обусловили рождение и рост этой идеи» [80, р. 3, 4]. Мне представляется, что связывать появление концепта “этнос” с социально-политической историей Российской империи, а также подключать к аргументации китайско-маньчжурские сюжеты не очень верно. Да и фундаментальность самой теории авторами преувеличивается. На самом деле этнический вариант национализма и “народоведческие” разработки имели более глубокие корни, особенно в Восточной Европе, а Н.М. Могилянский с Ф.К. Волковым здесь случайные фигуры. Этнонационализм заявил о себе и в эпоху Синьхайской революции, на знамени которой были изображены шесть звёзд — символы основных этнических культур (общностей), но к теории этноса и к деяниям её сторонников из круга С.М. Широкогорова это не имело отношения. В “Вестнике антропологии” уже был опубликован критический отклик [81] о напрасном приписывании С.М. Широкогорову активной политической роли в революционных событиях на Дальнем Востоке в начале XX в., а тем более — в период эмиграции в Китае.

В принципе, попытки реабилитировать этнос — этим словом теперь в России стал пользоваться даже президент страны — можно было бы считать невинным занятием, если бы не некоторые “но”: нет ли в этом риска встраивания этнологической мысли в общий консервативный поворот с его одержимостью поисками нормы в прошлом и с отказом от инновационных ответов

на сегодняшние вызовы? нет ли в этом риска сохранения первичности культурных норм (например, “духовно-нравственного наследия народов России”) в ущерб принципам культурной свободы и культурной сложности? Последнее (феномен культурной сложности) вообще за пределами “этномышления”, ибо это мышление замешано на типах и нормах в их чистом виде: ведь в теории этноса нет места русскому еврею или татаро-башкиру, а если и есть, то в качестве “переходного” состояния и антиномы.

## КОЛЛИЗИИ В МИРОВОЙ АНТРОПОЛОГИИ И РОССИИ

Чем заняться антропологам и этнологам во второй четверти XXI в. и от кого можно ожидать запроса на результат этих занятий? На эти вопросы следует отвечать с двух позиций: а) эволюции и перспектив мирового антропологического знания, частью которого является российская наука; б) ситуации в российском обществе и её динамики, включая верхушечные и низовые воздействия, которые испытывают учёные в собственной стране.

Каким содержанием было наполнено последнее 30-летие зарубежной антропологии? Траектории её развития были существенно отличными от российских, несмотря на, казалось бы, открытие границ и свободные контакты с конца 1980-х годов. Вот как описывает этот период Д. Комарофф в статье “Снова конец антропологии: о будущем дисциплины”:

«1960-е и 1970-е годы ознаменовали собой конец гегемонии британского структурного функционализма и американской парадигмы “культура и личность” — этих двух ортодоксий антропологии XX в. Оба подхода разложились в результате кумулятивного бунта колониальной и постколониальной литературной теории, ранней феминистской антропологии, антропологической герменевтики, разных видов марксизма, деконструкции Дерриды и постструктурализма Фуко» [82, р. 82].

Из всех воздействий колониальная критика была наиболее разрушительной для старых теорий, ибо она исходила из того, что вся конструкция антропологического знания с его приверженностью закрытым системам, гомеостатическим моделям, с его трактовкой социального по аналогии с биологическим, с его упором на репродуктивные процессы, а не на диалектику с её врождённым идеализмом, была изначально порочной. Что касается США, считает Д. Комарофф, то здесь «ситуация усугублялась антиисторической и аполитичной концепцией культуры, которая коррелировала с расиализацией различий, не говоря уже о конструировании радикальных “дру-

гих” – этого тёмного пятна нашей дисциплины... Всё это взывало к новому типу антропологических практик, к другому типу метанарратива на смену либеральному идеализму, в котором увязла антропология» (ibid., p. 83).

Д. Комарофф считает, что тогда в мировой антропологии сформировался запрос на критическую теорию, на контекстуальность: меньше герменевтики и больше материалистического, меньше описания и больше объяснения. Однако дебаты о кризисе дисциплины дали толчок самым разным рефлексиям, в том числе и таким, которые были связаны именно с подъёмом неолиберализма на рубеже двух веков. Это началось со знаменитой книги “Writing Culture” (“Записывающая культуру”/“Пишущая культура”) [83], которая породила установки против метанарративов, против авторского авторитета и в конечном итоге против объяснения. Критика “этнографического реализма” Д. Маркусом, Д. Клиффордом и другими авторами, участвовавшими в написании данной книги, вызвала к жизни запрос на “экспериментальные формы репрезентации” без большой теории. Постмодернизм и деконструктивизм заменили прошлые схемы. Это научное увлечение (которое стало часто называться “writing culture movement”) длилось около двух десятилетий и оказало противоречивое воздействие на мировую антропологию. Критика профессии изнутри и отторжение принципа реализма парализовали производство первичного антропологического знания. К.-Х. Коль во введении в книгу “Конец антропологии?” написал: “Этнографы стали настолько стесняться своих собственных скрытых предубеждений, что для них, как кажется, уже нет задачи сложнее, чем написать простое предложение этнографического текста” [84, p. 5]. Д. Комарофф указал на характерные черты антропологии, которая стала исходить из гирцевского подхода к интерпретации “культуры как текста” [85, 86]. Прежде всего это утрата дисциплиной своего бренда: этнографического метода с его корневой основой – концепцией культуры, а также заключённого в нём пространственного поля и сравнительного анализа разных сообществ. Утрата бренда была связана и с разрушением теоретического арсенала. Представители многих дисциплин (социологи, политологи, социальные психологи, экономисты и др.) проявили интерес к использованию методов культурной антропологии, стали заявлять, что они тоже “делают этнографию”, выполняют полевые исследования. Началось размывание концепта культуры, который стал обретать всепоглощающий характер. Наметилось стремление переориентировать культурную антропологию с решения как бы устаревших колониальных задач на новые, связанные с бизнесом и управлением вообще. Отдельными исследовательскими доменами стали корпоративные куль-

туры, субкультуры, культуры спорта, медиа, коммуникаций и т.д. Гуманитарии обозначили также поле *национальной культуры* как культуры государственно-политических сообществ в противовес привычной для антропологов культуре партикулярных (этно)сообществ. В самые последние годы появился концепт культурной сложности и сверхразнообразия.

В какой степени всё это коснулось российской антропологии/этнологии? Думаю, что в самой малой, ибо перевод книги К. Гирца “Интерпретация культуры” появился в России лишь спустя 30 лет после её написания, а книга “Writing Culture” вообще не была переведена на русский язык. Только некоторые авторы обсуждали и использовали эти концепции на уровне журнальных статей в “Антропологическом форуме” и “Этнографическом обозрении”. Что касается культурного многообразия России, то здесь сохранялся традиционный взгляд, а наиболее дебатлируемыми проблемами были адекватная фиксация этнической принадлежности в ходе переписей населения и более нюансированное представление этнокультурной мозаики населения страны [87, 88].

В мировой антропологии на рубеже веков обозначился ещё один вызов. Это попытка узурпации права на интерпретацию культуры аборигенными сообществами – якобы носителями неких архетипов, исключительными “собственниками” индигенных культурных брендов, обладателями свидетельств-патентов на статус “живого культурного наследия”. Дело в том, что, почувствовав финансово-политическую перспективность темы, немалое количество учёных в мире (Россия – не исключение) стали азартно трудиться над “правовой” и “моральной” концепцией индигенности. “Индигенность” стала не менее влиятельным концептом, чем “меньшинства” или “этнос”, если вести речь о пространстве бывшего СССР. Индигенности придаётся универсальный статус на уровне ООН и других международных организаций. Претензии на уникальность и самость и на этой основе требования от государства соответствующих компенсаций, выдвигаемые самими “аборигенами”, это мелочи по сравнению с лавиной исследований, публикаций, правительственных и межправительственных решений, конструирующих индигенность, а иногда даже индигенный расизм. Несмотря на большую и славную традицию изучения аборигенных народов Севера, для российской этнологии/антропологии концепт индигенности/аборигенности, понимаемый зачастую как предоставление больших прав “коренным” в сравнении с “некоренными”, – это новая тема родившейся “юридической антропологии” [89–92] и новый серьёзный общественно-политический вызов.

## ЧТО НА ГОРИЗОНТЕ?

Нынешний кризис в антропологии (точнее – разговоры о кризисе) мало связан с самим предметом изучения – культурно отличительными явлениями и сообществами с их вполне успешными вариантами соединения традиции и модернизации, которые в классической антропологии зачастую воспринимались как антиподы. Кризис коренится внутри дисциплины. Вот что пишет К.-Х. Коль во введении к книге о будущем антропологии:

«Вслед за так называемыми дебатами *writing culture* привычные подходы и формы репрезентации антропологов подверглись резкой критике, которая потрясла сами основы нашей области знания. То, что мы обозначали и изучали как “другое”, сегодня стало рассматриваться как утрата дисциплиной своего достоинства, как великое грехопадение дисциплины... Своей критикой авторитарных стилей предшественников сегодняшние антропологи также подорвали и свой собственный авторитет» [84, р. 4].

Добавим, что постколониалистский дискурс ещё больше способствовал подрыву классической антропологии.

В заключение хотелось бы напомнить одно замечание Б. Малиновского: когда он пришёл в антропологию, основное внимание уделялось различиям между людьми, а изучением базовой схожести учёные пренебрегали. Мною также неоднократно высказывались сомнения в отношении одержимости этнологов установлением культурных различий в ущерб поиску и анализу схожести. В нашей науке важны сравнения, но они должны фокусироваться на сходствах, а не на противопоставлениях. Обозревая обычные людские сообщества в театральных залах или на спортивных аренах, профессиональные коллективы или уличные собрания, я убеждаюсь, что все они – части одного российского народа, и они имеют на порядок больше общего, чем различий. Этнос российских антропологов (именно тут место этому греческому слову, обозначающему любые живые и мертвые сообщества!) не составляет здесь исключения. Вот только его представители предпочитают видеть и классифицировать соотечественников во множественном числе – как “народы России”, говорить больше о “дружбе народов”, а не о “дружном народе”. В переносе внимания с множественного числа на единственное (без отрицания сложности) А. Купер справедливо видит перспективу для будущей антропологии:

“Этнографам следует вовлечь этноцентрично настроенных гуманитариев в обсуждение не столь знакомых для них социальных процессов и взглядов на мир, которые могут стать доступными для изучения. По мере того, как мы лучше узнаём

других именно как людей со схожими способностями, создающими вполне сравнимые общества с общими для них проблемами, мы можем через это также больше узнать и о самих себе” [93, р. 75].

Эта установка на сравнительные объяснения на основе всё того же “включённого наблюдения” представляется не менее перспективной, чем так называемая полилокальная этнография (*multi-sited ethnography*), которая, по мнению некоторых коллег, лучше подходит для анализа нынешней мир-системной реальности, глобального рынка, государства и медиа. Напомню, что полилокальная этнография, как она понималась Д. Маркусом ещё в 1990-е годы, – это междисциплинарный подход, включающий медиаштудии, изучение технологий, использование естественных наук, культурологические подходы и т.п. Но при всей симпатии к свободному выбору этнографических мест (*sites*) следует избегать угрозы размывания дисциплинарного профиля и снижения профессионализма. По моему убеждению, междисциплинарность возможна только при сильной дисциплинарности, иначе на выходе мы получим внедисциплинарность, которая уже лезет из щелей дома гуманитарного знания в России.

Если брать современную российскую этнологию/антропологию в целом, то мой общий диагноз будет более позитивным, чем выводы С.В. Соколовского об “иллюзии благополучия” [94, 95], хотя многое в его критических замечаниях вполне обоснованно. Невозможно согласиться с его выводом о распаде научного сообщества на две самостоятельные дисциплины: прикладную политическую этнологию и этнографическую фольклористику, с собственными исследовательскими сетями, журналами и центрами. Оба эти проекта, с его точки зрения, несовременны и ведут в теоретический тупик, увлекая антропологию из мира актуальных человеческих практик в интеллектуально спонсируемые ими миры практик “архаического модерна”, “войти с которыми в постсовременную экономику знаний оказывается задачей неразрешимой”.

“[Первый] по своей сути и истории своего развития – это имперский проект, восходящий идеологически к проекту создания советского народа или, в современной терминологии, российской нации. Обозначение этого проекта как имперского не подразумевает в данном случае критики, но лишь подчёркивает его универсалистское и антикоммунитаристское содержание. Второй проект, помещая в фокус своих интересов культуру (а точнее – культуры с их особенными ритуалами, обычаями, символами, фольклором), в политическом отношении остаётся важнейшим ресурсом для местных национализмов и исторически уходит корнями в романтический национа-

лизм XIX в. (в российском случае – в идеологию народничества)” [96, с. 179].

Автор считает, что близость к идеологиям империо- или нациестроительства наносит и эпистемологический урон нашей по преимуществу дескриптивной дисциплине, поскольку размывает самый её фундамент, высокой ценностью в котором наделяются именно факты. «Неизбежное при такой близости идеологическое давление вовлекает дисциплинарную фактографию в калейдоскоп политически ангажированных интерпретаций, где факты превращаются в “факты” или в “так называемые факты”, а сам статус факта подвергается девальвации» [там же, с. 180].

Скажем прямо, это больше, чем вывод, это – приговор, который, однако, мне хотелось бы обжаловать. Во-первых, исследования конфликтов и толерантности, межэтнических отношений и способов их регулирования, нациестроительства и локальных национализмов, роли власти в устройении культурно сложных обществ всегда были в центре внимания социально-культурной антропологии и этнологии. Много лет действуют профильные комиссии при Международном союзе антропологических и этнологических наук, во всех крупных научных центрах и университетах есть исследовательские и образовательные программы по всем этим темам. В России эта научная тематика была освоена и развивается также и под воздействием общественного запроса, о чём нет необходимости напоминать. Если бы это было тупиковое научное занятие, то тогда бы едва ли две мои монографии о национализме и конфликтах были переведены и изданы в престижных западных издательствах, а три – в Китае. Переведены и пользуются спросом в западных странах и в Японии отличающиеся потрясающей воображение достоверной фактологичностью книги В.А. Шнирельмана по проблемам толерантности и локальных конфликтов.

Во-вторых, нациестроительство в форме полиэтничной гражданской нации не является имперским проектом, а, наоборот, противостоит ему. Но даже и имперский проект никогда бы не смог состояться без участия и содействия этнологов/антропологов. Научная карьера таких корифеев мировой антропологии, как Б. Малиновский, Ф. Боас, М. Мид и других, включая россиян Н.Н. Миклухо-Маклая, А.Е. Снесарева, Ч.Ч. Валиханова, была самым прямым образом связана с империостроительством в их собственных отечествах. Никакого особого эпистемологического урона научным занятиям антропологов прошлых поколений это не нанесло. Не было нанесено такого урона и советской этнографии, составлявшей эмпирически выверенные этнографические карты и разрабатывавшей основы категоризации населения для всеобщих переписей или культур-

но-образовательной политики. Не думаю, что современная этнология (в том числе прикладная и неотложная, которые также родились в России в последние два десятилетия) носит ущербный характер из-за сотрудничества с властью или с институтами гражданского общества.

Мне трудно понять, что такое “постсовременная экономика знаний”, в которой, по словам С.В. Соколовского, может не оказаться места сегодняшней российской этнологии с её “устаревшим теоретическим багажом”; но с тем, что этот багаж требует постоянного обновления, можно согласиться. По крайней мере, когда российская власть обращалась к этнологам, она получала полезные советы по сохранению и защите этнокультурного многообразия российского народа, разрешению этнополитических конфликтов.

#### ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Работа выполнена в рамках темы НИР ИЭА РАН по направлению № 7 “Современные нации, нациестроительство и российская идентичность”.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Eriksen T.H., Jacobek M.* (eds). *Ethnic Groups and Boundaries Today: A Legacy of Fifty Years*. L.: Routledge, 2019.
2. *Barth F.* (ed.) *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*. Bergen: Universitetsforlaget, 1969.
3. *Барт Ф.* (ред.) *Этнические группы и социальные границы: социальная организация культурных различий*. М.: Новое изд-во, 2006.
4. *Verdery C.* *The Dangerous Shoals of Ethnic Groups and Boundaries: A Personal Account // Ethnic Group and Boundaries Today: A Legacy of Fifty Years / Eds. T.H. Eriksen, M. Jakoubek*. L.: Routledge, 2019. P. 38–46.
5. *Gellner E.* (ed.) *Soviet and Western Anthropology*. L.: Duckworth, 1980.
6. *Gellner E.* *State and Society in Soviet Thought*. Oxford: Blackwell, 1988.
7. *Тишков В.А.* К истории возникновения франко-канадского национального вопроса // *Вопросы истории*. 1974. № 1. С. 76–90.
8. *Тишков В.А.* Политика двуязычия в Канаде // *Расы и народы: ежегодник*. М.: ИЭА РАН, 1977. С. 207–224.
9. *Тишков В.А.* *Освободительное движение в колониальной Канаде*. М.: Наука, 1978.
10. *Verdery C.* *National Ideology under Socialism: Identity and Cultural Politics in Ceaușescu's Romania*. Berkeley: University of California Press, 1991.
11. *Тишков В.А.* *Реквием по этносу: исследования по социально-культурной антропологии*. М.: Наука, 2003.

12. Соколовский С.В. Четверть века российской антропологии: 1975–2000 // Этнометодология: проблемы, подходы, концепции. 2003. Вып. 9. С. 136–159.
13. Тишков В.А. Горизонты российской этнологии. К 70-летию Института этнологии и антропологии РАН // Новая и новейшая история. 2002. № 5. С. 3–18.
14. Тишков В.А. Российская этнология: статус дисциплины, состояние теории, направления и результаты исследований // Этнографическое обозрение. 2003. № 5. С. 3–23.
15. Тишков В.А., Пивнева Е.А. Этнологические и антропологические исследования в российской академической науке // Новая и новейшая история. 2010. № 2. С. 3–21.
16. Тишков В.А. О новых подходах в теории и практике межнациональных отношений // Советская этнография. 1989. № 5. С. 3–15.
17. Тишков В.А. Советская этнография: преодоление кризиса // Этнографическое обозрение. 1992. № 1. С. 5–19.
18. Соколовский С. Зеркала и отражения, или ещё раз о ситуации в российской антропологии // Антропологический форум. 2014. № 20. С. 143–188.
19. Мартынова М.Ю. (ред.) XIII Конгресс антропологов и этнологов России: сб. материалов. Казань, 2–6 июля 2019 г. М.; Казань: ИЭА РАН; КФУ; Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2019.
20. Иникова С.И. (ред.) Русские Рязанского края: В 2-х т. М.: Индрик, 2009.
21. Соколова З.П. Этнограф в поле. Западная Сибирь. 1950–1980-е годы. М.: Наука, 2016.
22. Артёмова О.Ю. Академические исследователи в высшей школе (из опыта двадцати лет работы) // XIII Конгресс антропологов и этнологов России: сб. материалов. Казань, 2–6 июля 2019 г. / Отв. ред. М.Ю. Мартынова. М.; Казань: ИЭА РАН; КФУ; Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2019. С. XXXVI–XLIII.
23. Аржанцева И.А. Хорезм. История открытий и исследований. Этнографический альбом. Ульяновск: Артишок, 2016.
24. Токарев С.А. Этнография народов СССР. Исторические основы быта и культуры. М.: Изд-во МГУ, 1958.
25. Лурье С.В. Историческая этнология. М.: Академический Проект, 2004.
26. Чеснов Я.В. Лекции по исторической этнологии. М.: Гардарики, 1998.
27. Петрухин В.Я., Раевский Д.С. История народов России в древности и раннем средневековье. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2018.
28. Тишков В.А. От этноса к этничности и после // Этнографическое обозрение. 2016. № 5. С. 5–22.
29. Стефанович П.С. Новые подходы к этничности в медиэвистике: взгляд из “древнерусской перспективы” // Историческая память и российская идентичность / Под ред. В.А. Тишкова, Е.А. Пивневой. М.: РАН, 2018. С. 467–486.
30. Момджян К.Х., Антоновский А.Ю. (ред.) Этнос, нация, ценности. Социально-философские исследования. М.: Канон, 2015.
31. Соловей Т.Д. От “буржуазной” этнологии к “советской” этнографии. История отечественной этнологии первой трети XX века. М.: ИЭА РАН, 1998.
32. Тумаркин Д.Д. (ред.) Репрессированные этнографы: В 2-х вып. М.: Восточная литература, 2002–2003.
33. Губогло М.Н. Междисциплинарные исследования в контексте социально-культурной антропологии. М.: Наука, 2005.
34. Крюков М.В., Зельнов И. (ред.) Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Школы и направления. Методы. М.: Наука, 1988.
35. Губогло М.Н. Развивающийся электорат России: этнополитический ракурс: В 2-х т. М.: ИЭА РАН, 1994.
36. Kassof A., Plaks L.B. Managing Ethnic Conflict: The Kona Statement // Project of Ethnic Relations. The Kona Statement. April 1994. Princeton; New Jersey. <http://www.per-usa.org/1997-2007/kona.htm>
37. Horowitz D. Ethnic Groups in Conflict. Berkeley: University of California Press, 1985.
38. Horowitz D. The Deadly Ethnic Riot. Berkeley: University of California Press, 2001.
39. Tishkov V. Ethnicity, Nationalism and Conflict in and after the Soviet Union: The Mind Aflame. L.: Sage Publications, 1997.
40. Tishkov V. Chechnya: Life in a War-Torn Society. Berkeley: University of California Press, 2004.
41. Тишков В.А., Шнирельман В.А. (ред.) Национализм в мировой истории. М.: Наука, 2007.
42. Тишков В.А., Шнирельман В.А. (ред.) Этничность и религия в современных конфликтах. М.: Наука, 2012.
43. Lebov O., Crowfoot J. (ed.) The Soviet Empire: Its Nations Speak Out. Harwood: Taylor & Francis, 1989.
44. Lieven A. Chechnya: Tombstone of Russian Power. New Haven: Yale University Press, 1998.
45. Тишков В.А., Степанов В.В. (ред.) Феномен этнического конфликта: междисциплинарный подход и общественные практики. Опыт предупреждения и урегулирования конфликтов. М.: ИЭА РАН, 2018.
46. Степанов В.В., Черных А.В. (ред.) Государственная национальная политика России: экспертное мнение. М.: ИЭА РАН, 2018.
47. Мартынова М.Ю., Степанов В.В. Измерение культурного многообразия. Языковая ситуация, переписи, полевая этнотатистика. М.: ИЭА РАН, 2019.



48. *Полецук В.В., Степанов В.В.* Этническая политика в странах Балтии. М.: Наука, 2013.
49. *Арутюнов С.А. и др.* (ред.) Этнологический словарь. Вып. 1. Этнос. Нация. Общество. М.: ВИТТАН, 1996.
50. *Геллнер Э.* Нации и национализм / Пер. с англ., ред. И.И. Крупника. М.: Прогресс, 1991.
51. *Хобсбаум Э.* Нации и национализм после 1780 года / Пер. с англ. А.А. Васильева. СПб.: Алетейя, 1995.
52. *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. с англ. В. Николаева. М.: КАНОН-пресс-Ц; Кучково поле, 2001.
53. *Тишков В.А.* Об идее нации // *Общественные науки.* 1990. № 4. С. 83–95.
54. *Тишков В.А.* Что есть Россия? (Перспективы национал-строительства) // *Вопросы философии.* 1995. № 2. С. 3–17.
55. *Тишков В.А.* О нации и национализме: полемические заметки // *Свободная мысль.* 1996. № 3. С. 30–38.
56. *Тишков В.А.* Забыть о нации: постнационалистическое понимание национализма // *Вопросы философии.* 1998. № 9. С. 3–26.
57. *Тишков В.А., Шнирельман В.А.* (ред.) Национализм в мировой истории. М.: Наука, 2007.
58. *Шнирельман В.А.* Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье. М.: Академкнига, 2003.
59. *Шнирельман В.А.* Быть аланами. Интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в XX веке. М.: НЛО, 2006.
60. *Шнирельман В.А.* “Порог толерантности”: идеология и практика нового расизма: В 2-х т. М.: НЛО, 2011.
61. *Шнирельман В.А.* Русское родноверие: неоязычество и национализм в современной России. М.: ББИ, 2012.
62. *Шнирельман В.А.* Хазарский миф: идеология политического радикализма в России и её истоки. М.: Мосты культуры – Гешарим, 2012.
63. *Шнирельман В.А.* Арийский миф в современном мире. М.: НЛО, 2015.
64. *Cohen A.P.* Self Consciousness: An Alternative Anthropology of Identity. L.: Routledge, 1994.
65. *Hannerz U.* Cultural Complexity: Studies in the Social Organization of Meaning. N.Y.: Columbia University Press, 1992.
66. *Hannerz U.* Transnational Connections: Culture, People, Places. L.: Routledge, 1996.
67. *Vertovec S.* Super-Diversity and Its Implications // *Ethnic and Racial Studies.* 2007. No. 30 (6). P. 1024–1053.
68. *Филиппова Е.И.* Понятие “ethnie” во французской научной традиции и его политическое использование // *Этнографическое обозрение.* 2007. № 3. С. 52–60.
69. *Филиппова Е.И.* (ред.) Социальная антропология во Франции. XXI век. М.: ИЭА РАН, 2009.
70. *Филиппова Е.И.* Территории идентичности в современной Франции. М.: ИЭА РАН, 2010.
71. *Мартынова М.Ю.* (ред.) Границы, культура и идентичность. Этнология восточнославянского пограничья. М.: ИЭА РАН, 2012.
72. *Martynova M., Peterson D., Ignatiev R., Madariaga N.* (eds.) Peoples, Identities and Regions: Spain, Russia and the Challenge of the Multi-Ethnic State. M.: IEA RAN, 2015.
73. *Тишков В.А., Филиппова Е.И.* Культурная сложность современных наций. М.: РОССПЭН, 2016.
74. *Тишков В.А.* Российский народ. История и смысл национального самосознания. М.: Наука, 2013.
75. *Фурсова Е.Ф.* (ред.) Этнокультурная идентичность народов Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019.
76. *Рыбаков С.Е.* Философия этноса. М.: ИПК Госслужбы, 2001.
77. *Tishkov V.* From Ethnos to Ethnicity and Back // *Ethnic Group and Boundaries Today: A Legacy of Fifty Years* / Eds. T.H. Eriksen, M. Jakoubek. L.: Routledge, 2019. P. 78–92.
78. *Брубейкер Р.* Этничность без групп. М.: Изд. дом “Высшая школа экономики”, 2012.
79. *Попков Ю.В.* Глобальный контекст актуализации темы идентичности и её место в проблемном поле государственной национальной политики России // *Этнокультурная идентичность народов Сибири и сопредельных территорий* / Отв. ред. Е.Ф. Фурсова. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. С. 9–17.
80. *Anderson D.G., Arzyutov D.V., Alymov S.S.* (eds.) Life Histories of *Etnos* Theory in Russia and Beyond. Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2019.
81. *Кузнецов А.М.* Кто вы, профессор Широкогоров? Или, осторожно – фальсификация // *Вестник антропологии.* 2017. № 4. С. 107–118.
82. *Comaroff J.* The End of Anthropology, Again: On the Future of an In/Discipline? // *The End of Anthropology?* / Ed. H. Jebens, K.-H. Kohl. Wantage: Sean Kingston Publishing, 2011. P. 81–112.
83. *Clifford J., Marcus G.E.* (eds.) Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley: University of California Press, 1986.
84. *Kohl K.-H.* Introduction // *The End of Anthropology?* / Ed. H. Jebens, K.-H. Kohl. Wantage: Sean Kingston Publishing, 2011. P. 1–12.
85. *Гуриц К.* Интерпретация культур. М.: РОССПЭН, 2004.

86. *Geertz C.* The Interpretation of Cultures. N.Y.: Basic Books, 1973.
87. *Тишков В.А.* (ред.) Российская нация: становление и этнокультурное многообразие. М.: Наука, 2011.
88. *Тишков В.А., Степанов В.В.* (ред.) Этническое и религиозное многообразие России. М.: ИЭА РАН, 2018.
89. *Новикова Н.И.* (ред.) Люди Севера: права на ресурсы и экспертиза. М.: Изд. дом “Стратегия”, 2008.
90. *Новикова Н.И.* Охотники и нефтяники. Исследования по юридической антропологии. М.: Наука, 2014.
91. *Новикова Н.И., Функ Д.А.* Север и северяне. Современное положение коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. М.: ИЭА РАН, 2012.
92. *Тишков В.А.* (ред.) Российская Арктика: коренные народы и промышленное освоение. М.; СПб.: Нестор-История, 2016.
93. *Kuper A.* The Original Sin of Anthropology // The End of Anthropology / Ed. H. Jebens, K.-H. Kohl. Wantage: Sean Kingston Publishing, 2011. P. 37–60.
94. *Соколовский С.В.* Российская антропология: иллюзия благополучия // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 2009. № 1. С. 45–64.
95. *Соколовский С.В.* В цейтноте: заметки о состоянии российской антропологии // Laboratorium. Журнал социальных исследований. 2011. № 2. С. 70–89.
96. *Соколовский С.* Зеркала и отражения, или ещё раз о ситуации в российской антропологии // Антропологический форум. 2014. № 20. С. 143–188.